

Леонид Андреев

# Молодежь



# Леонид Николаевич Андреев

## Молодежь

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=146662](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146662)

### Аннотация

«Ученик восьмого класса Шарыгин дал пощечину своему товарищу Аврамову и чувствовал себя правым и оттого радостным и гордым. Аврамов получил пощечину и был в отчаянии, смягчавшемся лишь сознанием, что он, как и многие другие в жизни, пострадал за правду.

Дело было так. На классной стене с начала учебного года висело в черной рамке расписание уроков. Его не замечали до тех пор, пока Селедка, как звали надзирателя, подойдя однажды к стене, не обратил внимания класса на то, что лист с расписанием исчез и рамка пуста...»

# Леонид Андреев

## Молодежь

Ученик восьмого класса Шарыгин дал пощечину своему товарищу Аврамову и чувствовал себя правым и оттого радостным и гордым. Аврамов получил пощечину и был в отчаянии, смягчавшемся лишь сознанием, что он, как и многие другие в жизни, пострадал за правду.

Дело было так. На классной стене с начала учебного года висело в черной рамке расписание уроков. Его не замечали до тех пор, пока Селедка, как звали надзирателя, подойдя однажды к стене, не обратил внимания класса на то, что лист с расписанием исчез и рамка пуста. Очевидно, это была ребяческая шалость, на которую солидная часть класса, обладавшая растительностью на лицах и убеждениями, отвечала добродушно-снисходительной улыбкой, – той улыбкой, которая появлялась у них, когда Окуньков ни с того ни с сего становился на руки, поднимал ноги и в таком виде обходил комнату. Хотя все считали себя взрослыми, но никто не был уверен, что в следующую минуту и ему не вздумается прогуляться на руках. Селедка, кипятившийся из-за таких пустяков, как исчезнувшее расписание, вызывал к се-

бе юмористическое отношение. Был вставлен новый лист, – но на другой день рамка была опять пуста. Это становилось уже глупым, и потому, когда Селедка в безмолвном гневе растопырил длинные руки перед стенкой, к нему обратились с серьезным предложением, что расписание стащили, вероятно, первоклассники. На третий день в раме вместо расписания был вставлен лист, на котором выделялся тщательно оттушеванный кукиш. На предложение сознаться, класс, не менее начальства удивленный появлением рисунка, ответил недоумевающим молчанием. Было произведено следствие, но оно не привело ни к чему: хотя в классе художников было мало, но кукиш умели рисовать все. Последним созерцал рисунок сторож Семен, вынимавший его из рамки; и тому показалось что-то оскорбительное в кукише, относившемся как будто прямо к нему, к Семену. Будучи по природе толст, добр и глуп, Семен впервые стал на сторону начальства и посоветовал классу сознаться, но был послан к черту. Наступил четвертый день – и еще более изящный, крупный и насмешливый кукиш снова пятнал стену.

Речь инспектора у класса успеха не имела. Горячий и вспыльчивый чех, говорить он начинал спокойно, но после двух фраз наливался кровью и, как ошпаренный, принимался выкрикивать фальцетом бран-

ные слова:

– Мальчишки!.. Молёкососы!..

Директор произнес суховатую, но убедительную речь. Он разъяснил притихшим ученикам бесцельность подобной детской шалости, которая, однако, перешла уже границы. Шарыгин, в критические минуты говоривший от имени класса с начальством, встал и ответил директору:

– Мы все вполне согласны с вами, Михаил Иванович, и уже толковали об этом. Но только никто среди нас этого не делал, и все удивлены.

Директор недоверчиво пожал плечами и сказал, что если виновные сознаются, они наказанию подвергнуты не будут. В противном случае он, директор, поставит за эту четверть «тройку» из поведения всему классу и, что важнее всего, не освободит от платы за право учения всех тех, кто в первое полугодие был освобожден. Ученики должны знать, что он свое слово держать умеет.

– Но если же никто не хочет сознаться!

Михаил Иванович заметил, что в этом случае класс должен найти виновного. Это не будет нарушением товарищеских отношений, так как, не желая сознаться из упорства или ложного самолюбия, виновный подводит других под очень строгое наказание и сам исторгает себя из товарищеской среды.

Директор ушел, и класс занялся бурным обсуждением вопроса, в котором начальством была открыта новая сторона. Из-за того, что какой-то осел, устроивший всю эту дурацкую шутку, не хочет сказать двух слов, несколько бедняков должны вылететь из гимназии! На большой перемене директор был вызван из кабинета Шарыгиным и двумя другими воспитанниками. Директор вышел в коридор с папиросой в зубах; у него был важный посетитель, и он торопился. Шарыгин от имени класса заявил, что виновных они точно указать не могут, но подозревают троих: Аврамова, Валича и Основского. Класс полагает, что этим заявлением он снимает наказание с остальных.

Быстро, но внимательно взглянув на Шарыгина, Михаил Иванович похвалил его и сказал, что о заявлении класса он подумает. Похвала директора была приятна Шарыгину, хотя раньше он гордился тем, что начальство считает его вредным для класса элементом.

Когда Шарыгин подходил к классу, навстречу ему выбежал Рождественский. Во время дебатов он суетился и кричал больше всех и всем надоедал.

– А Аврамов тебя подлецом назвал! – с поспешностью сообщил он, радуясь продолжению суматохи и беспорядков.

Аврамов стоял, прислонившись к печке, бледный,

как сама печь, и презрительно, поверх голов, смотрел в сторону.

– Аврамов! Ты назвал меня подлецом?

– Назвал.

– Прошу тебя извиниться.

Аврамов молчал. Класс с напряженным вниманием следил за происходящим.

– Ну?

Тут вошел батюшка (был его урок), и все неохотно разошлись по местам. Минуты тянулись страшно медленно. Как будто время не хотело двигаться с места, предвидя то нехорошее, что должно сейчас произойти. Шарыгин, сидевший на последней парте, раскрыл перед собою какой-то роман и делал вид, что читает, но изредка смотрел вперед, с новым для него чувством любопытства рассматривая согнутую спину и опущенную над книгой голову Аврамова. Волосы у Аврамова были черные, прямые, и пальцы руки, на которую он опирался, резко белели. Думает ли он сейчас, что через несколько минут на его щеку обрушится удар, от которого щеке будет больно и она покраснеет? Какая это боль: резкая, жгучая или тупая? Сердце у Шарыгина начинает тяжело и медленно колотиться, и ему смертельно хочется, чтобы ничего этого не было: ни класса, ни Аврамова, ни необходимости ударить его. Но он должен ударить. Он чувствует

себя правым. Товарищи перестанут уважать его, если он оставит незаслуженное оскорбление безнаказанным. Шарыгин перебирает все речи, свои и чужие, которые сегодня говорились в классе, и ему все яснее становится, как незаслуженно, несправедливо Аврамов оскорбил его. Чувство злобы к этой черной голове и белым пальцам поднимается и растет. Шарыгину немного страшно, потому что Аврамов – сильный и, конечно, ответит ударом, но он должен ударить, и ударит. Резкий, продолжительный звонок по коридорам. Батюшка медленно идет к двери. За ним, разминая усталые члены, идут ученики, когда нервный, до странности громкий голос Шарыгина останавливает их:

– Господа! Одну минуту!

Некоторые из господ, забывшие, что было на перемене, оборачиваются и с удивлением смотрят на Шарыгина. Что это у него такая дикая физиономия? Шарыгин подходит к Аврамову.

– Так ты не хочешь извиниться?

Ах, да!.. Неприятная дрожь пробегает по спинам, и лица бледнеют. Всем хочется отвернуться, но никто не имеет сил сделать этого, и все, моргая учащенно глазами, смотрят на безмолвную группу, думая лишь о том, чтобы это поскорее кончилось. «Философу» Мартову хочется толкнуть Аврамова, чтобы он изви-



нился. Наклоняясь вперед, Мартов глазами старается выжать необходимый ответ.

– Нет, – отвечает Аврамов. – Ты...

Шарыгин не сознает, как он поднимает руку и бьет, и не чувствует силы удара. Он видит только, как пошатнулся Аврамов. Подняв левую руку для защиты лица, Шарыгин бросает взгляд в сторону и замечает курносое и обыкновенно смешное, а теперь побелевшее и страдальческое лицо философа Мартова. «А он-то чего?» – думает Шарыгин. Его возвращает к сознанию действительности прерывающийся голос, в котором слышится и кроткий упрек и жгучее страдание. Белые пальцы поднятых рук скрывают лицо и не дают понять, что говорит Аврамов.

– Бог... тебя Бог...

Шарыгин презрительно передергивает плечами и отходит, засунув руки в карманы.

Солнце ослепительно сияло, когда Шарыгин возвращался домой. На плохо очищенных тротуарах провинциального городка стояли лужи растопленного снега, отражая в себе фонарные столбы и под ними голубую бездну безоблачного неба. Весна быстро приближалась, и острый, свежий воздух, пахнувший талым снегом и далеким полем, очищал легкие от классной пыли. Каким темным и душным казался этот класс! Душным и тяжелым сном казалось и то, что

час тому назад произошло в классе и что не могло бы и произойти здесь, где так радостно сияет солнце и задорно-весело чирикают воробьи, ополоумевшие от весеннего воздуха. Но мысль невольно возвращалась назад, и чувство брезгливой жалости к Аврамову омрачало светлое настроение Шарыгина. Можно ли быть таким трусом, как этот несчастный Аврамов! Не он один, а и весь класс увлекался грандиозно величавым учением о непротивлении злу, но применять это учение в жизни может лишь дряблая натура, неспособная к протесту. Всеми силами отстаивай каждую свою мысль, свое правое дело. Зубами, ногтями борись за него. Быть же битым и молчать сумеет и мерзавец.

Шарыгин чувствует, что у него, как у нового Ильи Муромца, сила переливается по всему телу. Так и бросился бы врукопашную с этим, пока еще смутно сознаваемым злом, и бился бы с ним, стиснув зубы и сжав кулаки, бился бы до последнего издыхания. Ах, поскорее бы кончить эту гимназию! А пока... пока только особенно твердая поступь да более обыкновенного выдвинутая вперед грудь показывали, что это идет человек, победоносно отстоявший свое право на звание честного человека.

Солнце, так много видевшее на своем веку, с любовной лаской согревало молодую голову, над кото-

рой, неведомо для нее, уже висело первое серьезное горе.

Оно началось в тот же вечер.

Первый, кому Шарыгин рассказал о происшедшем случае, была Александра Николаевна, гимназистка восьмого класса, которую он любил и считал умной и «развитой». Впрочем, умной она казалась ему, пока соглашалась и не спорила. Споря, она так легко ставалась с логикой, становилась так пристрастна и нелепо упряма, что Шарыгин начинал удивляться, та ли это женщина, при поддержке которой он намеревался «бороться с рутинной жизни». Другим она нравилась именно во время спора, но Шарыгин не понимал их вкуса. Кроме того, она обладала неприятной способностью подмечать то, что желательно было бы не обнаруживать.

– Напрасно ты гордишься, – ответила Александра Николаевна. – Ты поступил подло.

Он гордится! Что за нелепость! Он просто исполнил свой долг честного, именно честного человека. Думая, что Александра Николаевна не поняла, он вновь подробно остановился на тех фактах, которые неопровержимо устанавливали его правоту в этой «неприятной» истории. Весь класс уговаривал Аврамова и других сознаться, выставляя на вид, что иначе из-за глупой шутки понесут наказание неповинные.

«Тройка» поведения – ерунда, но в классе есть двое учащихся на казенный счет, которые должны будут уйти из гимназии. Отсюда Шурочка должна видеть, что он лично, человек состоятельный, в деле не заинтересован.

– Пустяки. Директор просто врал, как иезуит, а вы ему поверили, как дураки. И шутка вовсе не так глупа. Этот кукиш мне очень нравится, – решила безапелляционно Шурочка, не подозревая, какой она делает скачок в сторону с строго логического пути, по которому шествовал Шарыгин.

Выразив нетерпение и едва за кончик хвоста успев схватить ускользавшую мысль, он начал развивать дальнейшие положения. Весь класс решил сообщить...

– То есть донести, – поправила Шурочка.

...Сообщить, что подозревает таких-то. Понимает ли Шурочка, что решил именно класс, а он был уполномоченным, передававшим решение класса?

Оказалось, что Шурочка этого не понимает. Шурочка полагает, что уполномоченный должен передавать только хорошие решения, а не дурные.

Это уже был такой скачок в сторону, что Шарыгин не успел схватить ускользнувшую мысль и казался вовлеченным в дебри ненужного спора о правах и обязанностях уполномоченных. Спор был бы бесконеч-

ным, если бы Шарыгин не воспользовался приемом почтенного противника и, махнув рукой, не перескочил на ту мысль, которая была нужна ему. Раз он был простым исполнителем воли класса, почему именно он подлец, а не Потанин и не весь класс?

– Да и все подлецы, – решила, не задумываясь, Александра Николаевна.

Шарыгин сердито рассмеялся.

– Ну, а почему же он именно меня назвал подлецом?

– Вероятно, ты больше всех настаивал, чтобы идти к директору. Во всяком случае, это фискальство, гадость!

Логика полетела к черту. Шарыгин потерял под собою почву и беспорядочно начал выдвигать те и другие орудия, повторяясь, путаясь, злясь на себя, на Шурочку, на мир, создающий Шурочек. И он объяснял и доказывал до тех пор, пока сам не перестал понимать, кто он, что он и чего ему нужно.

– Да это не спор, а какой-то танец диких! – с отчаянием воскликнул он.

Шурочка рассмеялась и спросила:

– А каков он собой – этот Аврамов?

– Прикажете познакомить?

– Это глупо – сердиться из-за пустяков.

– Пустяки! Назвать человека подлецом и говорить:

«Пустяки!»

Шарыгин сердито отдернул свою руку и с ненавистью взглянул на раскрасневшееся на морозе хорошенькое личико. Как приличествует гимназисту и гимназистке, они виделись на улице тайно от родителей, хотя никто не мешал им видеться явно.

– Ну, будет, будет! Вашу руку, маркиз Поза<sup>1</sup>! – Шурочка взяла руку Шарыгина, согнула ее кренделем и, вложив свою ручку, тронулась в путь. Шарыгин подержал руку, но ее держали крепко. Пришлось подчиниться. Так вот всегда бывает с этими женщинами!

Вернувшись домой, Шарыгин пошел к отцу в кабинет и, закурив папироску, рассказал ему, подробно останавливаясь на мотивах, всю историю. К его удивлению, и отец заметил, что здесь припахивает фискальством. Страдая от непонимания, Петр повторил свои доводы, стараясь обосновать их теоретически. Он говорил, что когда один предает всех, это дурно, но когда все предают одного, это означает торжество принципа большинства.

– Так-то оно так, а все-таки как-то... Да ты не волнуйся. Все это пустяки, а вы завтра же помиритесь с этим, как его...

И этот говорит: пустяки!

---

<sup>1</sup> ... маркиз Поза! – Герой драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787), олицетворение гражданских добродетелей.

Как они все не могут понять, что это не пустяки, что он страдает, что он готов убить себя, так ему больно. Но он не поддастся им! Он еще докажет им, как глубоко все они ошибаются. За ним стоит еще весь класс! Шарыгин ложится спать, останавливаясь на тех мыслях, которые он еще не успел сказать и скажет завтра. Что-то мучительное, однако, сосет его сердце. «Но разве поступать честно всегда приятно! – успокаивает он себя. – Есть честность ума и честность инстинкта, вот как у папы и у... этой женщины. Конечно, неприятно, когда идешь против инстинкта, но разве инстинкт не лжет?» Придуманно было красиво, и Петр на минуту успокоился, но, вспомнив, как его похвалил сегодня директор, почувствовал, что лицо его и шею охватило жаром. Краска стыда залила его щеки. Бессознательным движением Шарыгин натянул на голову одеяло, как будто в этой пустой и темной комнате кто-нибудь мог видеть его.

Прошло три дня. Начальство не сочло почему-то нужным придавать значение коллективному заявлению класса, и «заподозренные» беззаботно разгуливали по коридору. По безмолвному соглашению класс ни словом не вспоминал о происшедшей истории и с особенной предупредительностью относился к Аврамову. Посторонний наблюдатель едва ли бы заметил, что в классе что-то случилось. Но Шарыгин чув-

ствовал это. Двое заподозренных, охотно говорившие со всеми своими обвинителями, не замечали Шарыгина и не отвечали на его попытки вступить в примирительную беседу. Остальные с виду держались по-прежнему, но одна мелочь глубоко кольнула Шарыгина. Прежде, каждую почти перемену, на Камчатке, где сидел Шарыгин, собиралась кучка товарищей и вступала в споры самого разнообразного содержания, начиная Писаревым и кончая теориями мироздания. Теперь же никто не приходил, и Шарыгин, любивший говорить и слушать себя и видеть, как внимательно слушают его другие, остался один. Философ Мартов с выражением какой-то глупой боязни сторонился от него, точно драка составляла постоянное свойство шарыгинского характера. Однажды Шарыгин поймал на себе взгляд преданного ему Преображенского, и в этом взгляде сквозило не восхищение, к которому он привык, а, противно сказать... сожаление.

«Мерзавцы!» – думал Шарыгин, включая в это понятие весь класс и всех, кто находился за ним. Ему было нестерпимо больно и обидно, что в предательстве виноваты все, а наказание несет он один.

– За что, мерзавцы? – со злостью спрашивал Шарыгин, чувствуя, что даже Преображенский, который больше всего суетился и кричал в пользу доноса, теперь презирает его, Шарыгин вызывающе смотрел на



товарищей, говорил резкости, толкал заподозренных, не вызывая отпора и лишь возбуждая недоумение, так как большинство и сами не замечали, как они переменились к нему. Однажды он громко заговорил о том, что странно, почему директор до сих пор не принимает никаких мер, но все разошлись, притворяясь, что не слышат, а Преображенский, которого он прижал к стенке, согласился с ним, но имел такой жалкий вид, что Шарыгин отпустил его.

– Экие все дряни! – крикнул он, но ответа не получил. Шарыгину хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил с ним, убедил его, что он неправ, даже побил его, но только не молчал.

Учителя, казалось Шарыгину, тоже косились на него. Бочкин, преподаватель истории, резкий и независимый господин, потешавший класс своими шуточками, а директора в совете доводивший до чертиков, сказал:

– Доносиками заниматься вздумали? О будущие граждане российские!

Он обращался ко всему классу, но Шарыгин подумал, что это относится к нему одному. Обычный «кол», третий по счету, украсивший в этот день клетку журнала против фамилии Шарыгина, не сопровождался шутивными замечаниями, показывавшими, что, хотя Бочкин и ставит единицу за незнание урока, все

же считает его развитым и знающим.

– До сажени много еще осталось? – спросил Шарыгин, но Бочкин не ответил.

«Скотина!» – подумал Шарыгин, и ему захотелось заплакать. Дома тоже было не лучше. На свидания к Шурочке он не ходил, и та прислала уже записочку (с двумя орфографическими ошибками), справляясь об его здоровье и настроении. «Милый!» – хорош «милый», – подумал Шарыгин и, выбрав на диване местечко поудобнее, поплакал, удивляясь, как это он, умный малый, – а до сих пор не знал, что плакать составляет такое удовольствие. Это было в субботу. В воскресенье Шарыгин, против обыкновения, нигде не пошел и весь день посвятил странным занятиям, которые окончательно могли бы дискредитировать его в глазах класса и всех серьезных людей. Он шалил. Первый раз в жизни сестренка его испытала завидное наслаждение кататься верхом на мужчине, и, надо полагать, впоследствии, когда она вышла замуж, муж ее не раз проклинал легкомысленного братца. Почтенному старому коту, необыкновенно жирному и важному, Петр привязал на хвост бумажку. Он хотел доставить удовольствие все той же сестренке, но смеялся сам гораздо больше нее.

В понедельник на второй перемене Шарыгин после звонка попросил всех остаться в классе и взошел на

кафедру.

– Господа! – начал он дрогнувшим голосом и смотря на Аврамова. – Товарищи, черт вас возьми, а не господа. Слушайте. Аврамов оскорбил меня названием подлеца...

Аврамов, покраснев, смотрел вниз.

– ...И он был неправ. Да, неправ. Он должен был сказать: «Все вы подлецы!» А так как он этого не сказал, то я говорю: все мы были подлецами! Предателями, негодяями...

Глаза Шарыгина попали в восторженно раскрытый рот философа Мартова.

– ...И скотами. Один за всех, все за одного! Вот как нужно жить, братцы. А что я... я... ударил Аврамова, то я такой... такой...

Красноречивый оратор всхлипнул и, сбежав с кафедры, устремился к дверям, но чьи-то руки, бесчисленное множество рук, схватили его и закружили.

– Задушили! Пустите, черти! Опять к директору пойду.

На большой перемене многие искали Шарыгина, но он куда-то пропал. Когда класс был отперт и восьмиклассники гурьбой, выжимая друг из друга масло, ворвались в него, их пораженным глазам представилось чудное произведение искусства. На классной доске было нарисовано расписание с заключенным в него

кукишом, а перед ним в недоумевающих позах инспектор и директор, а за ними сторож Семен. Нос директора художник не мог вместить на доске и окончил мелом на стене. Внизу была подпись: «И. И. (услужливо): не огорчайтесь, И. М., этот кукиш мне. Директор (благосклонно): благодарю вас, И. И.! – Сторож Семен (глубокомысленно): а я так полагаю, что вам обоим».

– Сотри, сотри! – раздались голоса, но Шарыгин не подпускал никого к доске. Да и поздно было. Селедка уже видела рисунок. Никогда она так быстро не бежала, даже когда приезжал попечитель и она метала икру. Вошел директор, а за ним на цыпочках Иван Иванович.

– Кто? – лаконически спросил директор, оценив художественность исполнения и широту замысла артиста.

– Я, – отвечал Шарыгин.

– Ты? Хорошо. Ты будешь исключен.

Но директора смягчили. Наказание было ограничено четырехдневным арестом. Когда в следующее воскресенье замок щелкнул в двери и Шарыгин остался в классе один, он впервые почувствовал, что «грязь прошлого» совершенно смыта с него. Часа через два, когда он уже начал скучать, у стеклянной двери показалось чье-то дружески мигавшее лицо. То был философ Мартов. За ним последовал Преображенский.

И целый день одна дружеская физиономия сменяла другую, и все они мигали, кричали в замочную скважину и дружески скалились. Под дверь была просунута записка, кратко возвещавшая: «Не робей!» Ночью, когда Шарыгин собирался укладываться спать на принесенной постели, внезапно дзинькнул замок. Аврамов, Мартов и еще пара друзей осторожно вошли в класс, издали показывая хлеб, длинную колбасу, такую длинную, как нарисованный нос у директора, и *horribile dictu...* полбутылки водки.

Друзья разошлись поздно ночью. Наибольшее удовольствие от импровизированного банкета получил сторож Семен. Он любил выпить, – большая часть полбутылки пришлась на его долю. Он не прочь был посмеяться, если кто-нибудь с положительным юмористическим талантом изображал Ивана Ивановича, который неоднократно грозился его выгнать за потачки гимназистам, – Мартов же за изображение инспектора давно стяжал заслуженные лавры. Наконец распространенное мнение о том, будто бы Семен глуп, было по меньшей мере опрометчиво. Десять лет прислуживая при опытах в физическом кабинете, Семен обогатил свой ум изрядным количеством непонятных слов, дававших ему возможность с честью поддерживать всякий умственный разговор. И так как в горячем разговоре гимназистов постоянно попадались непо-

нятные слова, напоминавшие Семену дорогую физику, как-то: прогресс, человечность, идеалы, он всей душой устремлялся за своими приятелями туда, где, по их уверению, эти слова постоянно раздаются с высоты кафедры, живут и дышат – в далекий, желанный и загадочный университет.

Проводив посетителей, Семен возвращался по темному коридору. Колеблющийся огонь свечи трепетным светом озарял красное, усатое лицо, вырисовывая на стенке чудовищную движущуюся тень. Смутная грусть и сожаление наполняли глупую голову Семена.

Ах, кабы и сторожам можно было оканчивать гимназию и переходить в университет!